

ЭТЮД НА ЧУСОВОЙ

СКОЛЬКО помню художника Анатолия Николаевича Тумбасова, столь и неизменен его облик в памяти моей. Прежде всего запоминается тихая, добрая улыбка, вроде бы постоянно присутствующая на бледноватом лице от скрытого, тайного волнения и радости. Изредка озаряющих лицо негустым и неярким румянцем, беловатые волосы, выветленные солнцем и ветром брови и небольшие светло-голубые, внимательные-превнимательные глаза, тающие в себе какую-то глубокую печаль и даже виноватость.

Как видите, портрет и облик художника, мне запомнившиеся, так и просятся определить его в детстве и в юности в какое-нибудь городское предместье, в интеллигентную скромную семью, в примерную школу полугородского, окраинного толка, где много кружков по искусству, военной подготовке, где все что-то лепят, мастерят и рисуют, бросают деревянные гранаты и колют самодельные чучела врагов, где обязательно присутствуют два-три лохматых учителя, одержимых идеями невиданных изобретений, открытий, путешествий, будоражащих юные души.

Но, увы и ах, родом-то Анатолий Тумбасов из шахтерского поселка с самым ему подходящим названием, над которым долгие годы не дажались административные умы — Пласт Челябинской области, в пятидесяти верстах от станции Нижне-Увельской.

«Поселок этот можно окинуть взглядом с любого шахтерского отвала. В поселке всего было несколько двухэтажных зданий на городской манер: больница, девятая и десятая школы, две-три конторы, а все остальное — домишки с палисадниками и огородами», — напишет впоследствии о своей «малой родине» Тумбасов и с горьким выдохом добавит: «И вот тебе, почти четыре тысячи погиблов». В числе погибших на войне был и отец художника, и друг, роднее кровного ему брата, мечтавший стать художником Иван Чистов, убитый десятого сентября 1943 года в Смоленской области, возле деревни Шунь.

Так вот она откуда, глубоко таймая и неистребимая печаль в глазах художника — он-то вернулся с войны, а Ваня, отец и еще миллионы остались на реки вечные «там». Писанная война в сердцах тех, кто уцелел на войне, и груз ее тяжкий нести нам — фронтовикам до конца дней наших.

Оба они: и Толя Тумбасов, и Ваня Чистов — страстно мечтали стать художниками, и мечта одного из них исполнилась, он рисует, пишет и работает «за двоих», как наказывал ему покойный друг.

Художники, как и многие творческие люди, много и серьезно работающие, не любят, чтоб им мешали, изобретают всевозможные запоры и замки, ограждая себя от любопытных, праздных «гостей», но сколь я знаю Тумбасова — а знаю я его уже более тридцати лет, двери его мастерской всегда открыты для людей, и всегда согрет для гостей крепкий чай, и редкого по сердцу ему пришедшего гостя он отпустит без подарка — этюд с реки Камы, подаренный мне еще в пятидесятых годах, обхватил со мною не один уже город, сменил не одну квартиру. И при всем при этом Тумбасов не только много и плодотворно работает, он много ездит, в многих людей бывает. Урал облезил и изрисовал, кажется, от крайнего севера до родного юга. Но в общении с людьми он любит больше слушать, чем говорить, однако его «молчаливое общение» так активно, такое в лице его внимание и любовь, что и не замечаешь его неучастия в разговорах и спорах.

Но мне доводилось, и не раз, слушать и его рассказы, не о себе, нет, не о своих работах, а о том, где он был, чего видел, с кем встречался — и открывалась душа глубокая, глаз не просто приметливый, но и остропамятливый, и еще юмор, тихий юмор, всегда присутствующий в его рассказах, и самоиро-

ния, а это уже верный признак души, богато одаренной природой и озаренной светом добра.

Тумбасов не только много всегда работал как художник, но и выставлялся немало, и похваливали его, и даже куда-то выбирали, в какое-то руководство, но это никак не отражалось на его характере и поведении. Всегда скромно живший и живущий материально, он никогда никому из «богатых» и «широких» живущих художников не завидовал, на нужду не жаловался, не горланил на собраниях, и о нем в Перми одно время уж начали поговаривать: «Себе на уме мужичок», в особенности после того, как Тумбасов начал «пописывать» и изредка издавать очень милые и добрые книжки для детей со своими рисунками, содержание которых чаще всего составляли записки путешествий по Уралу или словесные этюды с рисунками о природе, о цветах и деревьях, исторических местах. И тут нашлись злые языки: «Деньгу зашибает Тумбасов! В писатели рвется!». Но книжки его были так непритязательны и обезоруживающе-доверительны, объем их столь невелик, что в конце концов унялись всякие наветы и к Тумбасову привыкли к такому, какой он есть: никого он локтями не отталкивал и не отталкивает, ни у кого кусок хлеба не рвал и не рвет. А вот когда я, переехав в Вологду, написал, что не худо бы ему посмотреть эту землю, не похожую ни на Урал, ни на Сибирь, но такую пространственно-российскую, историческую, привлекательную, то тут же занял у кого-то полста рублей и прикатил ко мне, побывал на выставках, в музеях, в лесу, в деревнях, и так был счастлив тем, что вот ему показали прекрасный древний «клочок» России, что даже и постоянная печаль в его глазах приутихла.

Повторяю — не припомню, когда бы мой сверстник по годам и окнам говорил о себе, хвалился собою, своей работой и успехами; вот о друзьях-товарищах — пожалуйста! О них он всегда готов поведать хоть изустно, хоть письменно.

В ЧЕЛЯБИНСКЕ, на родине Тумбасова, вышел литературно-краеведческий сборник под броским и красивым названием «Рифей» — такое, оказывается, наименование Урала дошло до наших дней из Эллады, от греков, и под этим именем вошел Урал в древнюю мифологию.

В числе шестнадцати авторов «Рифея» присутствует и Анатолий Тумбасов и снова пишет не о себе, снова не претендует на высоты литературного стиля, и, быть может, именно поэтому строки его порой столь проникновенны и зримы, что за сердце хватают.

Друг его, Ваня Чистов, был сиротой, и его на воспитание к себе взяла одинокая бабушка Яковлевна, которая в японскую еще войну была сестрой милосердия и которую два отрока, возмечтавшие быть художниками, все денными расспросами о великом русском художнике Верещагине, который, казалось им, должен был быть на самом заметном виду, посылку знаменит. Но бабушка Яковлевна отмахивалась от них: «Война шла, где там заметишь».

Так вот, отличник учебы, неизменный староста класса, горевший на общественной работе и самоуком постигавший секреты творчества, беспрестанно рисовавший, лепивший изучивший в библиотеке, в доступных книгах и по открыткам искусство, мечтавший хоть бы раз побывать в настоящей картинной галерее и увидеть картины Репина, Шишкина, Левитана, но так ничего этого и не увидевший, Иван Чистов раньше своего преданного друга уходил на фронт, а тот много-много лет спустя до осязаемости, предметно вспомнит, как провожал Ваню, который преобразился на глазах, возмужал, но как попал в компанию новобранцев, как зажали его в кузове ав-

томашины, так бравый призывник все искал глазами защитницу — бабушку Яковлеву, а она: «бабушка стояла в стороне, у изгороди и плакала, ничего не видя. Я пробрался к другу, потянул его за рукав... Мы молча и крепко пожали друг другу руки. Машина было тронулась, но мотор заглох. Все женщины опять нахлынули и притиснули меня к борту. Я опять оказался около Вани, а она, высвобождая руку, высыпал мне горсть сахара, выданного в военкомате. «Бери!» — сказал второпях, как мотор снова завели, машина тронулась, и ревущая, пестрая толпа, только что прильнувшая к кузову, стала отставать. Но многие еще бежали следом, кричали, махали платками и потом долго стояли на дороге, растерянные, одинокие, оставленные...»

Никого не повторил в этой сцене прощания не претендующий на звание литератора Анатолий Тумбасов, хотя сцен прощания написано, снято в кино и нарисовано не сотни, а тысячи, однако нигде и ни у кого я не встречал наповал разящего слова «оставленные». Это уж что-то от «тютчевской правильности», это уж из того, что близко лежит, да брать далеко.

«Так мы расстались с Ваней. Писали друг другу письма, жили надеждами, ожиданиями, жили все с той же мечтой: рисовать, рисовать...»

Скоро на фронт отправился и Тумбасов, но переписка друзей не прекратилась, и с родины приходили письма. «Я уже наизусть знаю начало и конец маминых писем», — простодушно признается другу Анатолий. А тот в ответ: «Друг мой, я очень соскучился и не могу забыть ни на минуту родные места и те счастливые дни, когда мы рисовали. Пока есть возможность — рисуй, рисуй день и ночь. А какие замечательные здесь места, так и вырвался бы порисовать, но нельзя. Надо овладевать противотанковым ружьем». И еще, и еще: «Больше рисуй. Жду бандероль с бумагой». «Спасибо тебе, что выслал бумагу. Спасибо, что догадался положить портрет Крамского. Хоть один портрет художника будет у меня». «Еще вспомнил: у меня есть кнопочки, возьми их себе и мне немного вышли. Если бабушка будет посылать мне посылку, вышли Пилью Репина — открытку, я хоть буду смотреть на нее и думать, как оп работал». «Я, Толя, когда иду в строю, то все смотрю по сторонам и в результате — запяньешься и станешь другому на ногу — за это попадет». «Помнишь: тихая ночь, снежинки, а мы гозорили об искусстве, о будущем... Мне кажется, что после войны будет другая жизнь...»

Я не случайно и не зря так много цитирую из горького и бесхитростного рассказа Анатолия Тумбасова о своем незабвенном друге, мечта которого оборвалась на взлете и могилу которого так и не смогли найти ни юные следопыты, ни друг его верный — на месте тяжелых боев под Шусей шумят хлебными колосьями колхозные поля.

Чуть позже, в голодные послевоенные годы с Золотого таежного рудника, кто затерял в дебрях Сибири, пробирался на попутных «в центр» другой подросток, мечтавший стать художником. С тяготами, муками, лишениями и со счастьем в сердце он поступил и окончил краевое художественное училище, затем был принят в Ленинградскую академию художеств и зодчества, откуда вернулся в родные края скульптором, живописцем, виртуозно владеющим рисунком, как владел им в старые времена русские художники, неистовые и требовательные к себе и к своей работе великие мастера. Рисунок и рисование для них были то же самое, что каждодневные изнурительные упражнения для балерин.

О Ленинграде, об академии, о том, как добывался хлеб насущный на пропитание, этот человек, мой земляк, ныне известный скульптор, может рассказывать часами, да все с юмором, и лишь когда дело

доходит до имен преподавателей, становится он предельно серьезным, на глаза его наплывает пленка благодарных, сыновних слез.

Год или полтора назад его преподаватель по классу живописи, старый и ныне всемирно признанный мастер, пользуясь тем, что в Ленинграде было какое-то широкое мероприятие и съехались многие художники, в том числе и «послевоенные», его самые любимые и трудолюбивые ученики, решил провести вместе с ними урок, поделиться своим накопленным мастерством, а главное — пообщаться, помочь живописцам, графикам и скульпторам окунуться в современную творческую атмосферу.

Прекрасные классы, мастерские, новомодные мольберты и станки, краски и кисти, о каких в провинции приходится лишь мечтать, материал для лепки любой, натурщица два десятка, да одна другой пластичнее и краше, а в те, послевоенные годы все не хватало природы и средств на натуру. Сам мастер пришел подтянутый, помолодевший, в торжественном одеянии и настроении, но в класс-то, на урок его, человека престарелого, до крайности занятого, явилось всего одиннадцать душ, и все, как на подбор, те, «послевоенные» его ученики, среди которых много уже общепризнанных, сединами украшенных мастеров. Нынешние же его ученики, жаждущие немедленной славы, удовольствий, роскошно одетые, перекормленные не только сладкой едой, но и искусством, сплошные «новаторы», предпочли общению с «бесконечно отсталым хлябем» торжественный банкет во славу искусства.

А мы еще сетуем: отчего так порой невыразительны, тусклы, однообразны многоместные выставки в Манеже и других выставочных залах, почему так долго не появляются новые Корины, Пластовы, Дейнеки, Мыльниковы, Моисеенки, Савицкие? Они на пустом месте не появляются и при таком «отборе» и отношении к делу скоро и не появятся, ибо работать нынешним «мастерам» неохота, а прославиться, и как можно скорее, они стремятся изо всех сил, и тут не столь работа, сколь папино или дядино имя пускается в ход и не жалется сил на приобщение к искусству с заднего хода...

Горько, очень горько это знать, и еще горше стало на сердце, когда я прочел очерк Анатолия Тумбасова о погибшем друге, так жадно, непобедимо, с открытым сердцем и чистыми помыслами стремившемся в искусство.

И снова, и снова глаза мои отыскивают и пробегают по строкам последнего с фронта письма к другу Ивана Чистова: «Рисуй больше, не жаль сил, ни времени, рисуй за двоих. До свидания. Спешу клеить письма тебе и бабушке картошкой из супа».

МНОГО уже лет назад на берегу самой в Европе красной, прославленной уральскими писателями и живописцами реки Чусовой художник Тумбасов нашел одинокую могилу партизана или красноармейца, погибшего в гражданскую войну. Он возмечтал нарисовать картину с этой могилы и много раз бывал на том скорбном месте, сделал множество этюдов, начинал картину и так, и этак, и все она у него не получается и, наверно, никогда не получится, потому что могилу своего самого любимого друга он не нашел, и мучает его та могилка, как мучают все наше поколение не найденные нами и неоткрытые могилы, не закопанные нами впопыхах наступления окопные друзья, а вот очерк-воспоминание получился. Пронзительно горький и простой документ героического времени, может, и картина о потерянном друге, о погибшей его мечте, о безвестной солдатской могиле, затерянной в просторах любимой Родины, когда-нибудь получится.